

Свирель — эпизод 3 из 3

Ты вот гляди, мне седьмой десяток, а я день-деньской пасу, да еще ночное стерегу за двугривенный и спать не сплю, и не зябну; сын мой умней меня, а поставь его заместо меня, так он завтра же прибавки запросит или лечиться пойдет. Так-тось. Я, акроме хлебушка, ничего не потребляю, потому хлеб наш насущный даждь нам днесь, и отец мой, акроме хлеба, ничего не ел, и дед, а нынешнему мужику и чаю давай, и водки, и булки, и чтобы спать ему от лари до зари, и лечиться, и всякое баловство. А почему? Слаб стал, силы в нем нет вытерпеть. Он и рад бы не спать, да глаза липнут ничего не поделаешь.

Это верно, согласился Мелитон. Нестоящий нынче мужик.

Нечего греха таить, плошаем из года в год. Ежели теперича в рассуждении господ, то те пуще мужика ослабли. Нынешний барин всё превзошел, такое знает, чего бы и знать не надо, а что толку? Поглядеть на него, так жалость берет... Худенький, мозглявенький, словно венгерец какой или француз, ни важности в нем, ни вида одно только звание, что барин. Нет у него, сердешного, ни места, ни дела, и не разберешь, что ему надо. Али оно с удочкой сидит и рыбку ловит, али оно лежит вверх пузом и книжку читает, али промеж мужиков топчется и разные слова говорит, а которое голодное, то в писаря нанимается. Так и живет пустяком, и нет того в уме, чтобы себя к настоящему делу приспособить. Прежние баре наполовину генералы были, а нынешние сплошной мездрюшка! Обедняли сильно, сказал Мелитон.

Потому и обедняли, что бог силу отнял. Супротив бога-то не пойдешь.

Мелитон опять уставился в одну точку. Подумав немного, он вздохнул, как вздыхают степенные, рассудительные люди, покачал головой и сказал:

А всё отчего? Грешим много, бога забыли... и такое, значит, время подошло, чтобы всему конец. И то сказать, не век же миру вековать пора и честь знать.

Пастух вздохнул и, как бы желая прекратить неприятный разговор, отошел от березы и стал считать глазами коров.

Ге-ге-гей! крикнул он. Ге-ге-гей! А чтоб вас, нет на вас переводу! Занесла в чепыгу нечистая сила! Тю-лю-лю!

Он сделал сердитое лицо и пошел к кустам собирать стадо. Мелитон поднялся и тихо побрел по опушке. Он глядел себе под ноги и думал; ему всё еще хотелось вспомнить хоть что-нибудь, чего еще не коснулась бы смерть. По косым дождевым полосам опять поползли светлые пятна; они прыгнули на верхушки леса и угасли в мокрой листве. Дамка нашла под кустом ежа и, желая обратить на него внимание хозяина, подняла воющий лай.

Было у вас затмение аль нет? крикнул из-за кустов пастух.

Было! ответил Мелитон.

Так. Везде народ жалуется, что было. Значит, братушка, и в небе непорядок-то! Недаром оно... Ге-ге-гей! гей!

Согнав стадо на опушку, пастух прислонился к березе, поглядел на небо, не спеша вытащил из-за пазухи свирель и заиграл. По-прежнему играл он машинально и брал не больше пяти-шести нот; как будто свирель попала ему в руки только первый раз, звуки вылетали из нее нерешительно, в беспорядке, не сливаясь в мотив, но Мелитону, думавшему о гибели мира, слышалось в игре что-то очень тоскливое и противное, чего бы он охотно не слушал. Самые высокие пискливые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось, неутешно плакали, точно свирель была больна и испугана, а самые нижние ноты почему-то напоминали туман, унылые деревья, серое небо. Такая музыка казалась к лицу и погоде, и старику, и его речам.

Мелитону захотелось жаловаться. Он подошел к старику и, глядя на его грустное, насмешливое лицо и на свирель, забормотал:

И жить хуже стало, дед. Совсем неумоготу жить. Неурожаи, бедность... падежи то и дело, болезни... Одолела нужда.

Пухлое лицо приказчика побагровело и приняло тоскующее, бабье выражение. Он пошевелил пальцами, как бы ища слов, чтобы передать свое неопределенное чувство, и продолжал:

Восемь человек детей, жена... и мать еще живая, а жалованья всего-навсего десять рублей в месяц на своих харчах. От бедности жена осатанела... сам я запоем. Человек я рассудительный, степенный, образование имею. Мне бы дома сидеть, в спокойствии, а я целый день, как собака, с ружьем, потому нет никакой моей возможности: опротивел дом!

Чувствуя, что язык бормочет вовсе не то, что хотелось бы высказать, приказчик махнул рукой и сказал с горечью:

Коли погибать миру, так уж скорей бы! Нечего канителить и людей попусту мучить...

Старик отнял от губ свирель и, прищурив один глаз, поглядел в ее малое отверстие. Лицо его было грустно и, как слезами, покрыто крупными брызгами. Он улыбнулся и сказал:

Жалко, братушка! И боже, как жалко! Земля, лес, небо... тварь всякая всё ведь это сотворено, приспособлено, во всем умственность есть. Пропадает всё ни за грош. А пуще всего людей жалко.

В лесу, приближаясь к опушке, зашумел крупный дождь. Мелитон поглядел в сторону шума, застегнулся на все пуговицы и сказал:

Пойду на деревню. Прощай, дед. Тебя как звать?

Лука Бедный.

Ну, прощай, Лука! Спасибо на добром слове. Дамка, иси!

Простившись с пастухом, Мелитон поплелся по опушке, а потом вниз по лугу, который постепенно переходил в болото. Под ногами всхлипывала вода, и ржавая осока, всё еще зеленая и сочная, склонялась к земле, как бы боясь, что ее затопчут ногами. За болотом на берегу Песчанки, о которой говорил дед, стояли ивы, а за ивами в тумане синела господская рига. Чувствовалась близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнее и по стволу ее ползут слезы, и лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней.

Мелитон плелся к реке и слушал, как позади него мало-помалу замирали звуки свирели. Ему всё еще хотелось жаловаться. Печально поглядывал он по сторонам, и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце, и лес, и свою Дамку, а когда самая высокая нотка свирели пронеслась протяжно в воздухе и задрожала, как голос плачущего человека, ему стало чрезвычайно горько и обидно на непорядок, который замечался в природе.

Высокая нотка задрожала, оборвалась, и свирель смолкла.